

УДК 882(09)

РАЗДРАЖЕННАЯ МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ: О ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕРОЯ-МЕЧТАТЕЛЯ В «ЗАПИСКАХ ИЗ ПОДПОЛЬЯ»

© 2009 С.А. Косяков

Оренбургский государственный педагогический университет

Поступила в редакцию 30 марта 2009 года

Аннотация: в статье рассматривается значение «Записок из подполья» в эволюции героя-мечтателя в творчестве Достоевского. Творческая составляющая образа мечтателей выделяется как главная для характеристики героев. Устанавливается закономерность рационализации человека из подполья. Рационализм подпольного человека сравнивается с мечтой ранних героев и идеей героев-идеологов.

Ключевые слова: самосозерцание в действительности; действительность; мечта; идея; действие; причинно-следственная связь; сознание; событие.

Abstract: the article is considering meaning of "Notes from underground" in evolution of dreamer in Dostoevsky's work. Creative element of dreamer's image is allotted as main for description of heroes. Rationalization of man from underground is established as predictable. Man from underground's rationality is compared with early heroes' dream and later heroes' idea.

Key words: Self – consciousness in reality; reality; dream; idea; action; link; meditation; event.

В ряду произведений о мечтателях «Записки из подполья» следуют после таких ранних творений, как «Хозяйка», «Белые ночи», «Слабое сердце», «Неточка Незванова» и предшествуют «Преступлению и наказанию», «Кроткой», «Подростку». «Записки» создавались Достоевским в 1864–65 гг. В подполье герой, по его словам, находится «лет двадцать». Таким образом, подпольное сознание герой обретает в середине 40-х гг. Примерно в это же время Достоевский выводит героев-мечтателей (Ордынов, Мечтатель, Шумков), представляющих отличный от подпольного полюс мечтательности.

Ранние мечтатели были узнаваемыми лицами своей эпохи, в отличие от них подпольный человек в настоящем середины 60-х нежизнен, поскольку выражает «один из характеров протекшего недавно времени. Это – один из представителей еще доживающего поколения» (5, 99). Таким образом доподпольная предистория

этого персонажа является необходимым условием целостного рассмотрения данного типа.

В публицистических «Петербургских летописях» Достоевский впервые определяет характер отношений мечтателя с действительностью. Писатель указывает, что «действительность производит впечатление тяжелое, враждебное на сердце мечтателя, и он спешит забиться в свой заветный, золотой уголок...» (18, 34). В своем углу обособленный герой начинает мечтать, но при этом не утрачивает ощущения ценности жизни. «Тогда в характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностью» (18, 32). Именно в этом смысле «Достоевский видит изъян своих сентиментальных мечтателей не в позиции, а в том, что им не хватает силы на то, чтобы сделать эту позицию постоянным жизненным принципом» (4, 35). Красоту действительной жизни мечтателю заменяют «наслаждения, доставляемые его своевольной фантазией»

(18,34). Так герой утрачивает «нравственное чутье <...> и не хочет знать, что жизнь человеческая есть непрерывное самосозерцание в природе и в насущной действительности» (18, 34).

У ранних мечтателей присутствует то, что может быть названо самосозерцанием вне действительности. В «Петербургских летописях» Достоевский указывает на противоположную мечтательной крайность, при которой действительность поглощает самосозерцание человека. «Дайте, например, какое-нибудь дело аккуратному, систематическому немцу, дело, противное всем его стремлениям и наклонностям, и растолкуйте только ему, что эта деятельность выведет его на дорогу, прокормит, например, и его и семейство его, выведет в люди, доведет до желаемой цели и т.д., и немец тотчас примется за дело, даже беспрекословно окончит его, даже введет какую-нибудь особенную, новую систему в свое занятие. Но хорошо ли это? Отчасти и нет; потому что в этом случае человек доходит до другой, ужасающей крайности, до флегматической неподвижности, иногда совершенно исключавшей человека и включающей на место его систему, обязанность, формулу...» (18,32).

Самосозерцание — понятие крайне важное для определения мечтателя. Созерцаая самого себя, мечтатель проявляет творческую силу фантазии. Так повествует о своих грезах герой «Белых ночей». «Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом, уж конечно он сам, наш мечтатель, своею дорогою особою» (2,115). Еще одна мечтательница Достоевского Неточка Незванова рассказывает, что «неизвестно каким образом, являлся как действующее лицо и отец, <...> и матушка, <...> наконец, — или лучше сказать, прежде всего — я, с своими чудными мечтами, с своей фантастической головой, полной дикими, невозможными призраками...» [2,165].

Герой «Записок из подполья», как и ранние мечтатели, обособлен. «Моя квартира была мой особняк, моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества...» [5, 168]. Но от прекраснотушия, звучавшего в таких словах персонажа «Белых ночей», как «...неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди?», в подпольном человеке не осталось и следа: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек» [5, 99].

Игривое отношение фантазии Мечтателя к предметам действительности столь же положительно, как и переживание неба. «Все та же фантазия подхватила на своем игривом полете и

старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку, и мужичков, которые тут же вечеряют на своих барках, запрудивших Фонтанку <...> заткала шаловливо всех в свою канву, как мух в паутину» [2, 115]. Соответственно рефлексия героя «Записок из подполья», рекомендовавшая его со стороны негативных качеств, все разлагает до такой степени, что не остается ни действительности, ни действия. Все предметы улетучиваются, оставляя одну лишь пустоту. «То ли дело все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться; дойти путем самых неизбежных логических комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже в каменной-то стене как будто чем-то сам виноват, и вследствие этого, молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться, выходит, тебе не на кого; что предмета не находится...» [5,100].

В пустоте Подпольного человека всякое качество теряет себя до бескачественности. «Но знаете ли, господа, в чем состоял главный пункт моей злости? Да в том-то и состояла вся штука, в том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю и себя этим тешу» (5, 100).

Паутина фантазии ранних мечтателей, окутывавшая действительность, лишала ее жизненных соков и уподобляла призраку, сну. В существовании Мечтателя мираж одновременно был осознаваем как жизнеподобный и иллюзорный: «Как будто и впрямь все это не призрак! Право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждение чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее!» (2,116). Сон поглощал самосознание героя «Хозяйки»: «Но Ордынов не мог бы теперь и подумать, что с ним делается: он едва сознавал себя...» (1, 275). Шумкова, мечтателя «Слабого сердца», неизвестность лишала возможности действия: «Я не знаю сам, что было со мной! Я как будто из какого сна выхожу. Я целые три недели потерял даром. <...> Я мучился ... неизвестностью... Я и не мог писать. Только теперь, когда счастье настает для меня, я очнулся» (2, 37). Из этих трех героев только Мечтатель не терял окончательно самосознания.

Напротив подпольный человек бдителен своим повышенным сознанием. Но из-за него же вязнет в пучине причинно-следственных связей мышления. «Ведь чтоб

начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно, и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следовательно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого познания и мышления» (5, 108).

Потеря «таланта действительной жизни» (18,34) у Мечтателя и подпольного человека происходит по-разному. Увлеченный мечтой герой «Белых ночей» осознает ее мираж и переживает утрату жизни. «Все, что потерял-то, все это, все было ничто, глупый, круглый нуль, было одно лишь мечтанье!» (2,119). В пустоте Парадоксалиста без рефлексии утрачивает смысл сама действительность. «А попробуй увлекись своим чувством слепо, без рассуждений, без первоначальной причины, отгоняя сознание хоть на это время; возненавидь или полюби, чтоб только не сидеть сложа руки. Послезавтра, это уж самый поздний срок, самого себя начнешь презирать за то, что самого себя зазнамо надул. В результате: мыльный пузырь и инерция» (5, 109).

Свое фантазирование и размышление мечтатели выражали на письме. Так, ночи Мечтателя с Настенькой оформляются в форму книги. Мечтатель одновременно играет роли творца произведения и героя. «Позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать» (2, 114). «Я создаю в мечтах целые романы» (2, 107). И сама Настенька воспринимает Мечтателя как литератора: «А то вы говорите, точно книгу читаете» (2, 113). Выражение себя на письме — единственно возможная форма объективации для Мечтателя, не имеющего истории. Без истории Мечтатель не может выступать как субъект действия. Он становится субъектом выражения и отражения. «— Так как же вы жили, коль нет истории? — перебила она, смеясь. — Совершенно без всяких историй! Так жил, как у нас говорится, сам по себе...» (2, 110). В произведении Мечтателя находит выражение его мечта, фантазия, а не события.

Покинутость, одиночество Мечтателя, которые создавали предпосылки для творчества, были вынужденными. «Мне вдруг показалось, что меня одинокого все покидают, и что все от меня отступают» (2, 102). Диалог с Настенькой в малой мере, но преодолевал замкнутое на мечте героя повествование.

Подполье для Парадоксалиста выражает его потребность в отделенности. И это стремление сказывалось в восприятии Подпольным человеком своих записок (о литературности Парадоксалиста см. подробнее 3 в списке литературы). «Я же пишу для одного себя и раз навсегда объявляю, что если я и пишу как бы обращаясь к читателям, то единственно только для показу, потому, что мне так легче писать. Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет» (5,122). Силовой центр повествования перемещается из «я»-мечты к чистому, самодовлеющему «я». В «Записках из подполья» имеет место одно лишь с а м о в ы р а ж е н и е подпольного человека.

Сосредоточенность на собственном «я» утрачивается следующим среди мечтателей писателем — героем романа «Подросток» Аркадием Макаровичем Долгоруким. Подросток — вовсе не литератор, хоть и пишет роман. «Я — не литератор, литератором быть не хочу и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью» (13,3). Подобно Подпольному человеку, Подросток отделяет свое письмо от восприятия читателя. «Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, то есть не для похвал читателя» (13,3). Подпольный человек отказывается от читателя, поскольку в «Записках» проявляется стремление его самости заявить о своей отделенности от действительности (частью которой является читатель). Текст «Записок из подполья» представляет с а м о о б ъ е к т и в а ц и ю подпольного человека без другого (см.3 в списке литературы). Читатель, прежде всего, обращает внимание не на факты, а на мысли героя по их поводу.

Совсем другие причины для отказа от литературности у Подростка. Он хочет выразить о б ъ е к т и в н о с т ь д е й с т в и т е л ь н о с т и . «Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное, от литературных красот; литератор пишет тридцать лет и в конце концов сам не знает, для чего он писал столько лет» (13,3). Для Подростка важен не он сам, как было у мечтателей, Подпольного человека, но совершившееся целое, лишь частью которого он является. «Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы и обойтись и без того. Одно знаю наверно: никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до ста лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы без стыда о самом себе<...> Если я вдруг вздумал записать слово в слово все, что случилось со мной с прошлого года, то вздумал это вследствие внутренней потребности: д о т о г о я п о р а ж е н в с е м с о в е р ш и в ш и м с я»(13,3).

«С досадой, однако, предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись совершенно без описания чувств и без размышлений (может быть, даже пошлых): до того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринимаемое единственно для себя» (13,3). «Чувства и размышления», против которых выступает Подросток, рассеяны в «Записках из подполья» в большом количестве, по сути, составляя их главное содержание. Поэтому функционально Парадоксалист выступает не как творец, а как отражатель. Избегание Подростком «чувств и размышлений» указывает на включенность героя в событие, которое разворачивается в произведении. Эта включенность, будучи источником переживаний, подвергающихся творческому осмыслению, позволяет Подростку обретать подлинное самосозерцание в действительности. В письме Подростком осмысляется действительность.

Вовлеченность Аркадия Макаровича в действительность открывает перед ним другие, нежели у подпольного человека и мечтателей, возможности ее понимания: «И к чему все эти прежние хмурости, — думал я в иные упоительные минуты, — к чему эти старые больные надрывы, мое одинокое и угрюмое детство, мои глупые мечты под одеялом, клятвы, расчеты и даже «идея»? Я все это напредставил и выдумал, а оказывается, что в мире совсем не то...» (13, 164).

В развитии образа мечтателя в творчестве Достоевского гипертрофированная рациональность подпольного человека не случайна. Разум помогал героям-идеологам преодолеть мечту и открыть идею. Герой «Записок» понимает, что Подполье есть лишь стадия: «Конец концов, господа: лучше ничего не делать! Лучше сознательная инерция! И так, да здравствует подполье! <...> Эх! Да ведь я и тут вру! Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но никак не найду! К черту подполье!» (5,121). Среди реплик подпольного человека обнаруживается даже пророчество об идее. «Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи» (5, 179).

Подросток так раскрывает механизм возникновения идеи: «самая яростная мечтательность сопровождала меня вплоть до открытия «идеи», когда все мечты из глупых делались разумными и из мечтательной формы перешли в рассудочную форму действительности» (13, 73). С яростной мечтательностью Подростка в

творении идеи соприкасается разумность. Идея — рассудочная мечта. Герои-идеологи наследуют тому, что было создано ранними мечтателями. Возникновение идеи у Раскольникова сопровождается процессом не вполне осознаваемого предчувствия. И в этом случае в ней совмещаются мысль и мечта. «Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не оттого, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он предчувствовал, что она «пронесется», и уже ждал ее; да и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь... теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это...» (6, 39).

В существовании преимущественно рефлексивного Подпольного человека все же иногда находили выход мечта и мечтательность. Но в отличие от идеологов они не несли самостоятельного творческого импульса, а имели, скорее, компенсаторную функцию, следовательно, не могли достигнуть творческой интенсивности, необходимой для создания идеи. «Но кончалась полоса моего развратика, и мне становилось ужасно тошно. Наступало раскаяние, я его гнал: слишком уж тошнило. Мало-помалу, я, однако же, и к этому привыкал. Я ко всему привыкал, то есть не то что привыкал, а как-то добровольно соглашался переносить. Но у меня был выход, все примирявший, это — спастись во все «прекрасное и высокое», конечно, в мечтах» (5, 132).

Для мечты характерен романтико-героический пафос. «Я делался вдруг героем. Моего десятивершкового поручика я бы даже и с визитом к себе тогда не пустил. Я даже и представить его себе не мог тогда. Что такое были мои мечты и как мог я ими довольствоваться — об этом трудно сказать теперь, но тогда я этим довольствовался. <...> Бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, что даже малейшей насмешки внутри меня не ощущалось, ей-богу. Была вера, надежда, любовь» (5, 132). В мечте подпольного человека выступает античный атрибут героя — лавровый венец. «То-то и есть, что я слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством все это вдруг раздвинется, расширится; вдруг представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной и, главное, совсем готовой (какой именно я никогда не знал, но, главное, — совсем готовой), и вот я выступлю вдруг на свет божий чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке» (5, 132).

В оформлении мечты Ефимова («Неточка Незванова») Достоевский также использует античный символ героизма. «Он мечтатель; он думает, что вдруг, каким-то чудом, за один раз, станет знаменитейшим человеком в мире. Его девиз: aut Caesar, aut nihil. Как будто Цезарем можно сделаться так, вдруг, за один миг. Его жажда – слава» (2, 175). Талант, признание, слава находятся на полюсе Цезаря, сильной личности, которая требует жертв. Мечтания, в которых появляется сильная личность, одолевают и Раскольникова (право имеющие), и Подростка (Ротшильд). Для мечтателей и подпольного человека мечта могла актуализироваться с о в с е м г о т о в о й , з а о д и н м и г . В т о в р е м я , к а к м е ч т а , с у щ е с т в о в а в ш а я в и д е е , о с у щ е с т в л я л а с ь с а м и м и г е р о я м и в д е й с т в и т е л ь н о с т и .

*Косяков С.А.
Воронежский государственный университет.
Аспирант.*

ЛИТЕРАТУРА:

1. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., Наука, 1972. В тексте рядом с цитатой том и страница указываются по этому изданию.
2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М.М. Бахтин. – М., 1963. – 363 с.
3. Джакуинта Р. «У нас мечтатели и подлецы». О «Записках из подполья» Ф.М. Достоевского // Русская литература. 2002. №3. – с.3-18.
4. Щенников Г. Достоевский и русский реализм / Г. Щенников. – Свердловск: Издательство Уральского университета, 1987. – 352 с.

*Kosyakov S.A.
Voronezh State University.
A post-graduate student.*